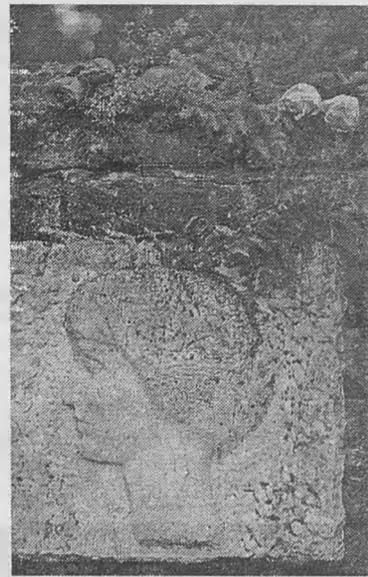


Русская мысль. — Леонид Штакельберг
Париж — 1996. — 2 мая — с. 10.

Долгая дорога в Комарово осенью 64-го года



Надгробие Анны Ахматовой.
Установлено в Комарово в 1970 г.

особого блага новичка, была "та еще" машина". Мне дали, как у нас говорят, "от забора", то есть ничью, а стало быть, уже несколько раскулаченную, разукомплектованную телегу после капитального ремонта.

Конечно, за три с лишним месяца, что машина была в моих руках, я постепенно довел ее "до ума", но везти Анну Андреевну? Перезвонил Найману. "Ну и что, — сказал он. — Ты других-то возишь? Не беспокойся, Анна Андреевна ездить любит, все будет нормально".

Не помню, что было накануне: то ли завозился с ремонтом, то ли начальство уговорило ехать на две смены, но вернулся с линии я уже под утро. Помню, заставил бабьейщиц полностью вымыть салон: потолок и сиденья.

Вернулся домой, лег спать часов в семь утра и чуть не проспал. Вскочил в четвертом, а дальше закрутился по-привычному: полубегом — каналом — к Невскому, свернул на Желябова, в домовую кухню — пожрать, и в парк.

Толя ждал у ворот, я выгнал машину, и через Кировский мост мы покатали на Петроградскую.

Санкт-Петербург

Окончание
в следующем номере.

Знойным летом сорок шестого, четырнадцатилетний, я был отправлен из Ленинграда в Киев, к двоюродному деду, маминому дяде — Евдокиму Тимофесвичу Данько, как было сказано — "на фрукты".

Два месяца, изо дня в день, почти все время провел на пляже Труханова острова. Уезжал на тот берег с первым перевозом, возвращаясь домой под вечер. Благо, от Бессарабки, с начала Красноармейской, было рукой подать. Почернел, как головешка, сожрал фруктов за все пропущенные с сорок первого годы и еще на сколько-то вперед.

Семья деду, по контрасту с нашей, потерявшей с отцовской стороны семнадцать жизней (мама считала, я всех и не знал), была счастлива полным воссоединением. Его жена, еврейка, избежала Бабьего Яра: дед вовремя, в самом начале оккупации, отправил ее "менять шмотки" по селам, там она и отсиделась, люди добрые не выдали.

Их сын, офицер-артиллерист, "вся грудь в крестах", совсем молодой еще, словно Эней Котляревского — "парубок моторный", целым вернулся с войны, и, хотя по молодости вносил в дом кое-какую нервозность, это все ж была струя жизни, хлопоты для родителей нормальные.

Вдруг, перед самым маминым за мной приездом, во второй половине августа, словно какая-то болезнь вползла в дом. Взрослые стали говорить, понижая голос, так, что поначалу я думал, что вина моя, хотя убей, не понимал — в чем? Но в конце концов, черт вообще разберет этих взрослых...

Только когда приехала мама и дед набросился на нее с вопросами, стало ясно: понижали голос не из-за меня, причина — Зоценко и Жданов, впервые мною услышанная Ахматова, какая-то Горенко и несколько раз повторенные делом, памятные из довоенных разговоров отца еще две фамилии — Винниченко и Хвильевый. Да, там, в Киеве, этот ряд выглядел именно так.

Мы вернулись в Ленинград. После растительного летнего существования, когда, кроме утренних слов побудки — "Говорить Киев", я ничего не слышал по радио, не читал газет, здесь было все это, плюс школа, плюс баня, вот-вот: сразу с дороги — баня, именно там, во всеобщем послевоенном мужском клубе, я понял, как задело это постановление горожан. Тот злополучный рассказ знали все, его ведь весною по радио передавали, да еще, кажется, дважды, кстати, обезьяна эта тоже в баню пришла... "Ну, чего там, все, как есть". "Нет, ты погоди, ведь очернительство..." "Да оглянись: номерок-то сперли?"

Зоценко был самым известным, любимым, подлинно народным писателем, а уж здесь в Питере — вообще своим. К нему и отношение был соответственное: "Мало ли, с кем не бывает? начальству не угодить". Тем паче Жданов (это всегда чувствовалось) своим в городе так и не стал, это вам не Киров.

Ахматову в простонародной массе не знали, кто и знал — помалкивал, и почти похабное "блудница" было, как деготь на воротах: срам, но любопытно. Умело, ох, умело, по-гостинорядски было сказано.

Я достал с полки томик, пытаюсь разобраться (с Зоценко-то все казалось ясным), но "Четки" пришлось не по годам; в заторможенном дрейфе я еще плыл мимо ранних островов Маяковского, Тихонова и Сельвинского, утесы Пастернака обозначивались сквозь туман, там, за проливами

Багрицкого. Земля Ахматовой была "terra incognita".

Мама грустно наблюдала за этим неудавшимся знакомством.

Она худо перенесла дорогу, видимо, еще хуже — нашу первую в жизни двухмесячную разлуку, вообще — заметно сдала. Тяжелейший порок сердца мучил одышкой, синюшность проступала все явственней, распухшие венозные ноги не держали. Жизни осталось пять лет — моей тридцатисемилетней маме.

Недели через две, где-то в середине сентября, она сказала: "Вот тебе деньги. Сходи, пожалуйста, на Сенной, купи ирисы. Если не будет — хризантемы. Отнеси по адресу, это неподалеку. Скажешь, для Анны Андреевны". — "Какой Анны Андреевны?" — "Там написано, Ахматовой". — "Вы же незнакомы?" — "Тебя это не касается. Передай, и — все".

В самом этом поручении не было ничего особенного. Ей тяжело было лишиться раз выбираться из дома, и я привык к роли рассыльного. Носил то цветы, то домашнее печенье, то небольшую вышивку — подарки. Но, во-первых, всегда — знакомым, а во-вторых, тогда это были именно поручения, они и отдавались мне приказным тоном; теперь же мамин тон был другой, она просила — стало быть, оставляла мне лазейку.

Я это мигом сообразил; одновременно представил себя на пороге незнакомого дома с цветами — что я буду говорить? Суну букет и скажусь по лестнице?

И тут с предельной ясностью увидел другую картину — свой проход по улицам с цветами, под перекрестьем взглядов, снисходительностью усмешек, сквозь прерзительность сверстников: гогочка! — увидел и понял, прозрел будущее: долго еще не смогу я ходить с цветами, дело не в этом мамином поручении, просто — не смогу вообще, не вынесу положе-

ния ряженого в толпе.

Так, нестати для задуманного мамой, пришла ко мне идиотская псевдобрутальность, болезнь роста, когда цветы в собственных руках становятся табуированным знаком. Помню, смешавшись от неожиданности открытия, я спросил невольно не только логику разговора, но и собственным мыслям, ляпнул, как говорится, не подумавши:

— Почему же не Зоценко? — спросил я.

— Зоценко — мужчина, — был ответ.

Ах, какой урок пыталась дать мне мама. Она посылала меня, единственного из подвластных ей в ту пору мужчин, к незнакомой Анне Андреевне даже не как к поэтессе, а как публично оскорбленной хамом женщине. Именно потому, что среди взрослых не нашлось ни одного (на всю страну) не скажу — рыцаря, просто — порядочного человека, именно потому, цветы должен был понести я: мальчишка, подросток, паж.

Но я оказался слабаком. Смешно сказать, в свои четырнадцать я мог без робости разобрать незнакомую мину (позади уже были посздки на оставленный двумя армиями пулковский рубеж), мог на полном ходу спрыгнуть с подножки трамвая на самом быстром в городе спуске — с Кировского моста на Петроградскую, мог ввязаться в любую драку или на спор переплыть Неву, в общем — выполнить весь набор этой пресловутой псевдобрутальности, но к настоящему мужскому делу оказался не готов.

Я понес какую-то чепуху про уроки, про тренировки на "Динамо"...

— Значит — не пойдешь? — перебила она.

— Нет, — сказал я.

Через пару лет, повзрослевший, я снова поймал на себе тот же взгляд, интонация. Мы выходили

из кинотеатра после "Дороги на эшафот" с Зарой Леандер в роли Марии Стюарт. "Какая замечательно красивая женщина", — сказала мама. Конечно, в шестнадцать я уже понимал, что такое Зара Леандер, более того — уже чувствовал особую для себя притягательность именно такого типа женщин, но не сдержался, пощеничьки фыркнул. Мама повернула меня за плечо, посмотрела, очевидно, стараясь понять, впрямь ли я такой debil или очень умело притворяюсь; поглядела и сказала: "Запомни, пройдет совсем немного времени, ты будешь, высунув язык, бегать, искать по городу картины с ее участием".

Она знала, что говорила. "Восстание в пустыне" я смотрел четырнадцать раз.

Между сорок шестым и шестидесятью четвертым пролегла пропасть, сменились эпохи.

Давно, в пятьдесят первом, осенью умерла мама. Я вырос, окончил институт, вел пеструю жизнь, перебрал кучу профессий, объездил страну от Камчатки до Калининграда. В июле стал работать таксистом. В первых числах ноября мне позвонил Толя Найман.

"Слушай, есть дело", — как всегда бодро начал он. "Издавай". — "Ты как работаешь?" — "Каждый день". — "Пятого работаешь?" — "Да, а что?" — "Надо отвезти Анну Андреевну в Комарово". — "Толя, я работаю вечером..." — "Со сколько?" — "С 17-ти". — "Чудненько, без четверти я буду на Конюшенной..." — "У выездных ворот, увидишь". — "О'кей, пока!" — "Пока".

Я обрадовался: до Комарова почти час езды, я успею рассказать, покаяться, отдать цветы, мой долг им обеим.

Правда, немного беспокоила машина. Тут надобно пояснение.

Дело в том, что у меня, как у всякого поступившего в такси без